

Владислав Дорофеев



ВЕЧЕРНИК

Владислав Дорофеев

Вечерник

«Автор»

Дорофеев В. Ю.

Вечерник / В. Ю. Дорофеев — «Автор»,

Основная часть стихов для книги Владислава Дорофеева «Вечерник» написана в относительно короткое время, за шесть лет. Значительная их доля – духовного содержания. Добавлен ряд первых поэтических текстов автора, прошедших испытание временем, и переводы нескольких пронзительных стихотворений последнего европейского романтика финляндского классика Й. Л. Рунеберга. Книга адресована почитателям и ценителям русской поэзии.

© Дорофеев В. Ю.

© Автор

Содержание

От автора	6
Автобиография	7
Параллельный ветер	9
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Владислав Дорофеев
ВЕЧЕРНИК

моим родителям

От автора

По установившейся традиции поэтический сборник начинают статьей, направляющей читателя, объясняющей читателю в нескольких словах особенности творчества незнакомого автора, или, что реже, автора уже известного. Впрочем, особенного в ней смысла нет. Но встречная привычка делает свое дело. А по своей склонности, я сам пишу начальную статью. В данном случае, она будет коротка, всего абзац.

Вслед за одним из своих наставников, Эдуардом Бабаевым, я также убежден, что всяческие «—измы», течения и школы – есть лукавство и суета. Потому что всякий отдельно взятый литератор – это отдельная литература. Другое дело, кто литератор, кто нет? Время даст ответ.

Перед вами, русская поэзия Владислава Дорофеева.

Автобиография

Умирать не хочется, а надо. Лучшее противоядие от смерти и забвения – поэзия. Цель моих поэтических опытов чрезвычайно проста – я хочу остаться в истории, в истории русской словесности, в частности. Но не в тщеславии дело, а в жажде настоящего результата. Ведь не все пустоты, которые образуются после смерти человека, заполняются. Я хочу свою будущую пустоту заполнить, забить по макушку листами, исписанными стихами и прозаическими текстами.

Странно, но меня никогда не тянуло участие в поэтических/литературных течениях, организациях и пр., собственно, меня во всю мою жизнь, прошлую и нынешнюю не тянуло в компании, школьные, профессиональные, питейные, кружки, клубы, организации, команды и пр. Меня всегда тянуло одиночество, а не друзья, тем паче соперники. Не потому что я кого-то боялся, кроме Бога, вряд ли. Но я не верю в споры, соперничество и конкуренцию, ибо это все суть земные, сиюминутные проявления человеческих слабостей. Человек рождается не ради спора с себе подобными, но ради осуществления задачи, поставленной ему Богом. А споры и соперничество отвлекают.

Мне всегда совершенно хватало себя, мне интересны исключительно внутренние горизонты души. И проявилось это чувство довольно рано, причем, болезненно, поскольку чужаков не любят и чураются всегда, а в детстве их еще и бьют физически. Есть фотография меня пятилетнего, отец с приятелем, еще какие-то малые дети, я стою в стороне, независим выражением и позой. Такая тяга к независимости и отъединенности проходит через всю мою жизнь. Как я понимаю, эта внутренняя поза и составляет одно из оснований поэтической натуры, натуры поэта.

Наверное, это очень плохо, но, как мне представляется, родился я случайно, у восемнадцатилетней красивой телеграфистки и блестящего молодого лейтенанта военной авиации. Сохранилась фотография, они под ручку у памятника Ленину (через «i»), в Киеве, в начале шестидесятых годов прошлого века, меня не видно, но я уже где-то там присутствую. Замечательная пара, хороши очень. Родители довольно скоро развелись. Потом несколько лет бессмысленных – за лучшей жизнью – метаний по квартирам, стране, республикам, людям и не очень, и я, как тряпичная кукла, рядом болтаюсь, как тростник от быстрого бега. По причине или нет, но мне доставалось в нежном возрасте за любые провинности, которые, я хорошо это помню, никогда не были со зла. Потому несправедливых побоев я не забыл. Не получается. Кажется, я много болел, однажды, проболев почти полгода, умудрился за оставшиеся месяцы перейти в следующий класс. Учился хорошо, старательно, хотя знаний получил мало, по причине скверных школ и учителей, среди которых не запомнил ни одного хорошего, а плохих помню. Одну, с узкими злыми губами, которая меня высмеяла перед всем классом не только за то, что постоянно тянул руку с места, чтобы ответить первым на заданный вопрос, но прежде всего за то, что я быстрее соображал; и другого, уже в последнем классе, он спаивал учеников, пытался и меня, но меня не тянуло. Меня никогда не влекло пьянство, хотя отец в какой-то период времени почти заделался алкоголиком, отчего окончательно поломал военную карьеру, затем семью, подорвал физическое здоровье, что привело его к полной инвалидности, но умудрился сохранить и даже преумножить душевную чистоту к концу жизни. С родителями я расстался довольно рано, лет в шестнадцать. С тех пор, то есть уже более тридцати лет, я живу, точнее, отвечаю за свою жизнь, сам.

Впервые я почувствовал необычность и тягу поэтического вдохновения лет в четырнадцать, когда прочел зараз, физически не отрываясь от книги, «Евгения Онегина», и вслед за очень короткое время почти всего Пушкина. После чего появилась странная мысль, что я не только понял и освоил Пушкина, а и пошел дальше. Мысль запомнилась, хотя, будто мне и не

принадлежала. Никаких стишков я пописывать тогда не стал. Взахлеб, причем, не отрываясь, сутками, я начал писать стихи еще лет через восемь, после двадцати. Тогда-то мне открылась полнота ощущения гармонии, поэтического вдохновения, когда будто сползает пелена с глаз, чувств и мыслей, и мир делается единым, взаимопроникающим, и единство это лучшим способом передает поэтический образ, позволяющий обнаружить неожиданную, новую сторону бытия. Нетленную, духовную. Тогда именно я почувствовал потребность во вкушении поэтического откровения, почувствовал вкус к образу и мелодике слова, как главным и основным тяготениям своей жизни.

Несмотря на почти четверть века, прошедшие с тех пор, четко и ясно осознанное предназначение, я литератор и поэт не очень плодовитый. За четверть века литературной деятельности (на фоне продолжающейся журналистики, отброшенной, как обертка от конфеты, карьеры, семьи, пятерых детей, пустых метаний и пошлых болезней, неглубокого пьянства и глубокого странничества), это моя четвертая опубликованная книжка, и третья поэтическая, из коих одна переводная. Правда, еще столько же не опубликованных. Никакой особенной славы я не снискал, тем паче коммерческого успеха. Однако, писал, пишу и буду писать, пока дышу поэтической страстью. Потому что «всякое дыхание, да, хвалит Господа» (Пс. 150, 6). Потому как поэтическая страсть – особенная страсть, которая, изучая мир, одновременно этот мир преобразует, показывая взаимосвязи и явления, которых, хочется надеяться, никто еще не замечал, или не уделял им особенного значения. Поэзия – высшее из искусств, по одной простой причине, образ – это всегда азарт истины и ближние подступы к мировым законам. Основа всех богодухновенных книг, всех религий мира – язык притчи, инверсии, сравнения, аллитерации, метафоры, то есть образный язык. Образный язык – это всегда небесное откровение, знание, недоступное смертным, а все-таки приоткрываемое посредством образа. Ибо сказано – «...тем внешним все бывает в притчах... они своими глазами смотрят, и не видят, своими ушами слышат, и не разумеют...» (Мк. 4, 11–12). Потому образный язык – основа Библии, основа библейской поэзии. То есть в основе поэзии – библейский язык небесного откровения, которое дается только людям крайне, предельно жертвенным, коими всегда были пророки, в православной классификации святые, преподобные отцы.

Крайняя степень жертвенности – распятие. И не столько потому, что распинание человека в первом веке нашей эры, на момент распятия Иисуса Христа, было крайней формой унижения человека. А прежде всего оттого, что Богу позволить убить Себя людям! – это, конечно, высшая форма проявления самопожертвования.

И, конечно, самопожертвование – одно из самых истинных проявлений самоиронии. Потому как, Богу позволить убить Себя людям! – это, конечно, высшая форма проявления самоиронии. То есть крайняя степень самоиронии – распятие. Значит, блаженны нищие духом, ибо таковые в высшей степени самоироничны.

Так вот поэтический тест, содержащий в себе духовную пружину вдохновения, – это особая форма самопожертвования, то есть одно из проявлений высшего порядка самоиронии. И это еще одна из привлекательнейших особенностей поэтической войны (не пустого соперничества, а настоящей ратной брани на жизнь и смерть) с хаосом и брэнностью вселенной, человеческого мира.

Параллельный ветер

Монашеская песня (рапсодия)

монахам Валаама

Туман опустился ранний —
Тревожно как никогда,
Холодно мне, и израненного
Тянет меня со двора,

Стелется тонкое марево —
Тенью полощется крест,
Золото лунное валится —
Валится к нам с небес,

Звери безликие тянутся —
Тянутся стаями вслед,
Круг завершен без жалости —
Грех превращается в бред.

Патиной времени – нежной и
Легкой, или покровом сна —
Нас укрывает надежда,
Путаясь в локонах дня,

Сердце страдает вечно,
Криком кричит душа,
Правой крещусь беспечно,
В левой руке свеча,

Плачу над телом Бога,
Слезы гудят в груди,
Голосу новой дороги
Я помолюсь в пути.

Впалая грудь Валаама,
Сытые морды гроз,
Волны ласкают камни,
Трогая когти звёзд,

Белый клубок Валаама,
Ладаном пахнет погост,
Явный завет Ханаана
Мнится мне между берез.

Остров, достигших покоя
Братьев, достигших мечты,
Синфрэг в привратницкой рая
Ждёт тебя – вспомнишь и ты.

Утром и мягким, и тихим
Вместе молился с людьми,
Лики святые – как мысли —
Нас увлекали войти,

Посох апостольский с нами,
Сердце открылось любви,
Мощи святые под нами —
Сергий и Герман они,

Небо открылось воле,
Воля открылась небу,
К тайне Христовой воли
Мы вознесёмся в небо.

Вырву молитву из сердца
И подойду к кресту,
Маску ангельской смерти
Вымолю для Руси,

Буду просить за мёртвых —
Кровью забрызган путь —
Встану пред ними твёрдо
Под «Богородицу...» на ветру.

Стебли икон безвозвратно
В тело моё прорастут,
Хрупкие тени заката
В Мёртвое море сойдут.

Птицы и звери уснули,
Ключник-монах на посту,
Перед лампадой синей
Молится он в темноту,

Колокол в древней ночи
Звоном спрямляет время,
Дрогнут пространства Земли,
Он упадёт на колени.

Я подойду к распятию —
Глаз открывать не стану,
Боль нестерпимого счастья

Я испытаю в храме.

Горькие крики чаек —
Как не рождённые дети,
К острову подлетают
И превращаются в ветер.

Слово срезает память,
Благодатным огнём умашая,
Бьётся в могильной раме
Сердце Угодника Николая.

Мы – Иисусово племя —
Нас не бывает много,
Мы – Иисусово пламя —
К Богу пробьём дорогу.

2000

Агасфер

(поэма)

Луна карабкается ввысь. Дождь прекратился. Жена читает вслух для дочери под лампой миф о вечной плоти Агасфера. Вечереет. Мир на исходе дня. Передо мной молитвенная ночь. Всё пахнет жизнью: глаза надменные жены, ликующая дочь, жующая просфору на ветру, волхвы, пришедшие к Христу за раннею звездой, крест на стене и образ Серафима на груди, дорога между озером Святым и башней угловой, фитиль звезды, зажженный от последнего луча, и этот дом, объединяющий всегда и всех репатриантов. Я человек из Нового Завета. И у меня сердечный клапан выкован из благодатного огня, глаза мои не жалуют границ, во мне моря земные вместо слез. Я – голоден. Я всюду и нигде. Я – отгиск мироздания. Но нет и у меня ответа на вопрос, в котором нет ответа на ответ: какая разница – между соленой плотью Лотовой жены и вечной плотью Агасфера? Для них есть лишь одна определенность – стоять всегда или всегда бежать! Какая, в сущности, формальность, владельцам плоти той уже не вознестись, им вечно жить в пространстве голубом, им не дано узнать, что значит, умереть, чтобы воскреснуть! Им остается только плоть. Плоть пахнет всем. Всё называется словами. Слова не пахнут никогда. Ведь запах – это слово. И слово отделяется от слов. И слово слово словом (и никаких меж ними запятых). Слова вне времени, а время вне пространства (как вариант: слова вне запаха, а запах вне пространства). Какая, впрочем, разница – ведь их никто не ждет, к их равенству добавить ничего нельзя (ну разве что сомнения). Ну разве что услышать чьи-нибудь слова: «Такое небо голубое утром, когда глаза твои такие голубые! И я уже иду к тебе. Давай скорей договоримся, я в руки дам тебе ключи, я покажу дорогу, которую пройдешь, и расскажу тебе об удивительном и странном сне, который ждет тебя за дверью, в которую войдешь, когда ключом откроешь дверь. А там: холодным днем – таким холодным, что даже губы посинели, и пятнами пошли ладони, глаза заиндевели – я жду... Нет-нет. Прости. Сейчас не до тебя. Ты знаешь – я всегда с тобой, я никогда тебя не забываю, я думаю всегда, и я всегда тебя желаю. Поэтому ты вправе ожидать, что днем холодным и таким пугающе обычным, там на углу Твер-

ской, как раз между Крещатиком и Елисейскими полями, между Кремлем и Эрмитажем я жду тебя. Но, нет. Прости. Не до тебя. Я жду хромого иудея Агасфера. Он шел ко мне давно, и он уже давно забыл, откуда и когда он вышел, и почему идет столь долго, столь давно. Он помнит лишь одно, что на углу Тверской, между Крещатиком и Елисейскими полями, между Кремлем и Эрмитажем, холодным днем, таким пугающе обычным, под моросящим с самого утра дождем, его жду я, с заиндевевшими глазами и в шляпе, сдвинутой на лоб. Я знаю слово. И я его произнесу. И он его услышит». Не помнит Агасфер – откуда вышел вечный жид, и кто его послал, и он не помнит Слово, которое забыл в тот миг, когда он пошутил над Тем, Кто шаркал вслед кресту, скрипя подошвами по камню и песку, глотая кровь и слезы на ходу, над Тем, Кто шел к Отцу. В тот миг от Агасфера отделилось Слово, Оно покинуло его, и Агасфер стал вечной плотью на земле, и собственное Слово Агасфер забыл, он будто умер над землей, он будто превратился в древнюю оливу, которую давным давно дед деда Агасфера посадил в Иерусалиме, на краю двора; к стволу ее всегда привязывали полотно, которым накрывали двор от солнца в летнюю жару, под зеленью оливы той (теперь уже сухой оливы той) стоял всегда огромный стол. Однажды Агасфер упал с оливы той, когда привязывал веревкой полотно к стволу, и даже не ушибся, попав в объятия отца. Тогда отец нахмурился, потом заулыбался, потом вошел он в дом, потом он сел, и посадил он сына впереди себя, закрыл глаза и тонко-тонко, тихо-тихо, нежно-нежно, едва слышно, запел про то, что пел ему его отец, про то, что пел тому его отец, про то, что пели все отцы, которые зачали Агасфера, которые всегда его оберегали (и видит Бог, не сберегли). «Чем выше в гору». – Пел отец: «Тем дальше от земли, тем сумрачней неотвратимое падение. И берегись сынок, чем дальше от земли, тем ближе к Господину. А там страшись, мой Агасфер, Отца познавши – Сына не признать!» – Кадык отца задергался, набухли вены на висках, отец с закрытыми глазами продолжал: «Я пел тебе, мой Агасфер, запомни все, что я пропел тебе, запомни песню Агасфера, Агасфер». Отец обнял его, поцеловал, поставил впереди себя, и сделав странное движение правой рукой, провел он в воздухе незримую окружность, с диаметром от головы до ног, закрытого от страха Агасфера, а в круге том изобразил он крест, коснувшись лба, пупа, затем, поочередно, от правого на левое плечо, предплечий двух наружного обличья Агасфера, и прокричал: «Мой Агасфер, – вот твой предел, который ты не в силах будешь одолеть, или твоя надежда. Иди туда, или останешься навеки на земле, скитаясь по ее пределам безутешно, вслед за блуждающей и вечной плотью». При этом взгляд отца, как две звезды, вонзился молниями в небо за окном. Нечеловеческий разбег отцовского ума: «Ведь страха больше нет! Я жертвую собой во имя Агасфера. Вот шанс для первенца, для Агасфера моего. Я умираю. Мой Господин, не оставляй меня и Агасфера!» И вот уж труп отца лежит на глиняном полу в ногах у Агасфера. «Мой Агасфер... Мой Агасфер... Мой Агасфер... (бесчисленное множество понятий встает за бесконечным повторением точек)». – Шептали губы мертвого отца. Отцовский тихий шепот навсегда. Затихло все. Лишь только шепот мертвых губ – «Мой Агасфер... Мой Агасфер... Мой Агасфер...». Мрак ночи наползает на Иерусалим. Сады мерцают под единственной луной. Дома ютятся ближе к Богу. Печальный Агасфер приник к губам отца, затих под шепот мертвых губ, и ровно задышал, как будто зашептал в тональности отцовских губ (по направлению к небу): «Как хорошо, что нет отца. И мать еще не знает об отце, и сестры. О чем отец мне говорил? Что показал? Какой-то круг с крестом каким-то. И как потешно шевелятся губы мертвого отца, простые, мертвые, родные, слова одни и те же повторяют. Люблю его. Но плакать не могу еще. Уйду, пока никто нас не увидел. И унесу с собой отца. В песках, вдали от города его похороню. И никому не покажу я мертвого отца. В Иерусалим вернусь лишь после смерти матери и всех сестер. Меня забудут все. Ведь все умрут. Какую нежностью проникнут я ко всем моим родным, которых больше не увижу. Не понимаю, почему я должен уходить, зачем теперь мой дом – пустыня?! На сердце у меня пустыня. Так горько мне. Так одиноко. Легко прощаться с прошлой жизнью». Еще не вечный Агасфер прополз змеей между родными, сестрами, домами, небом и

луной, взошел в пустыню. А ночь не прекращалась, как когда-то день в долине Аилонской, когда молитвой Иисуса Навина остановились солнце и луна над битвой в Гаваоне. А может быть не ночь остановилась, а Агасфер, из ночи в ночь переходя, не покидая прежней ночи, он в будущую успевал. И в темноте в объятьях Агасфера отец сливался с темнотою, и будто не было отца, лишь шепот губ напоминал о мертвом теле – «Мой Агасфер... Мой Агасфер... Мой Агасфер...». Но вот забрезжила заря на горизонте, и желто-голубое небо высветило путь. И Агасфер молитвенно подумал: «Вот место, где вырою могилу для отца. Прочь ночь. Прочь суета. Все лица умерших и все цари, пророки все и судьи, первосвященники, рабы и все другие иудеи, уже представшие пред Господом моим! Сюда, ко мне придите. Здесь мой отец лежит. Он умер, он уже не дышит, в нем кровь остановилась, и глаза потухли, но губы шепчут без умолку – „Мой Агасфер... Мой Агасфер... Мой Агасфер...“. Он знал как мне спастись, но не успел сказать, и вот теперь зовет меня куда-то. Возьмите душу мнимого отца и на поклон снесите к Господину моему. Моих молитв не хватит никому – ни мне и ни отцу. Дорога только началась. Мы встретимся еще». Вновь ночь взыграла. Под раннюю звезду углом звезды, под бормотанье мертвых губ, кидая шевелящийся песок к востоку, отрыл могилу Агасфер отцу. И положил в могилу хладный труп, обвитый полотном, но не засыпал, а рядом лег под шелест мертвых губ. И помолился. И заснул. И ночь вошла. И спал, забытый всеми, безмятежно спал, забытый миром Агасфер, отправившись в последний сон, в последний путь – туда, где неизбежность. Лишь только шепот возносился к небу, просящий шепот, искренний и безутешный – «Мой Агасфер... Мой Агасфер... Мой Агасфер...». Ничто не прерывало сон – ни время, ни пространство. Песок и тот остановился над могилой, хотя казалось бы, что может быть сомнительней песка, который обречен на вечное и мертвое движение; песчинки, будто мириады иудеев, которые колышутся исправно вместе с ветром, солнцем и луной, колышутся, не постигая, достигая, Бога. Прошло сто лет, прошло и больше. Ничто не прерывало шёпот мертвого отца, ничто и никогда. И постепенно от могилы в небо труба духовная образовалась: такой духовный коридор, в котором ладаном пропахли стены, и Богом пахнет воздух голубой, а впереди огромная открытая долина рая, в которой день проходит и другой, и год за годом мчатся, и цветут сады, и горы опускаются и вновь роятся безмятежно (и нет там ничего вокруг, что человека безобразит); и Агасфер забыл там о былом, а помнил лишь о настоящем. И вспомнил он, что этот сон прервать нельзя. Вот шанс для Агасфера: из милости к Христу – проспаться Христа! А если не проспаться, так промолчать, когда Сын Божий, шаркая ногами, срубая все людские параллели, пройдет всего лишь в нескольких минутах от полудня, 14 дня нисана, в тридцатую весну от Рождества Христова, – и в этот самый миг пусть ветхий человек смолчит перед Христом. Молчи Израиль перед Богом! Немного для начала, но лишь тогда настанет время Агасфера, но лишь тогда отец в пустыне замолчит, и губы прекратят шептать – «Мой Агасфер... Мой Агасфер... Мой Агасфер...». Тогда перед Христом молитвенно предстанут все цари, пророки все и судьи, первосвященники, рабы и все другие иудеи, которые, стряхнув столетий пыль, в тридцатую весну от Рождества Христова, 14 дня нисана, лишь в нескольких минутах от полудня, стояли вслед за Агасфером, мечтающая пошутить над шаркающим вслед кресту Христом. Злые дети. Мечта сбылась. И что?! Зашаркали. Ослы – не иудеи! Зашаркали след в след за Агасфером, дорогой бесконечной на восток, скрипя подошвами по камню и песку, глотая кровь и слезы на ходу, за Тем, Кто шел к Отцу. Вот так, мой Агасфер, мой вечный тайный жид, ты все еще в пути, ты плачешь понемногу, перемежая прозой дивный сон. А город все еще не твой, мой Агасфер, небесный город желто-голубой не твой, – надменный мой, печальный и глухой, капризный, жалкий, глупый и немой, и не познавший благородство, забытый всеми и забывший всех, слепой и мертвый, пересмешник-иудей. Я знаю слово, и я его произнесу, и ты его услышишь: «Вотще ты отложил Голгофу на века – её не избежать ни эллину, ни иудею».

Плачущее войско Чингисхана

(элегия)

Под невидимой луной
Пахнет потом и мочой,
Пахнет смертью и грозой,
Пахнет правдой и росой,
Кто не спит – тот убит,
Кто убит – тот не спит,
И никто не говорит —
Каждый о своем молчит.

Спят монгольские бойцы —
Все коварны и хитры,
Все убийцы, все страшны,
Все порочны и пусты,
Все корявы и дурны,
Все нелепы и глупы,
Все конечны и чужды,
Все беспечны и просты.

Дети, кони и отцы,
Церкви, буквы и кресты,
Вдовы, овцы и гробы,
Горы, люди и кусты,
Мыши, рыбы и ужи,
Травы, камни и попы,
Волки, зайцы и дубы,
Реки, солнце и кроты —

Всё уже давно в крови,
От зари и до зари,
От утра и до утра,
Кажется, что навсегда.
Тихо ангелы Руси
Плачут на моей груди,
От земли не видно звёзд,
И полны ладони слёз.

Трупы русских на земле,
Трупы русских на холме,
Трупы русских на стене,
Трупы русских на столе,
Трупы русских без сердец,
Трупы русских без яиц,

Трупы русских на века,
Трупы русских за Христа.

Стонут мертвые во мне,
А живые в алтаре,
Весь в печали лес стоит,
И земля вся голосит.
Чингисхан рожден козой —
Волосатой и больной,
Он родился гол и зол —
Урожденный хан козёл,

Вспоен кровью он людской
Сладкой, жгучей и густой,
Нежной, чистой, голубой,
Русской, юной и святой;
Под землей хан силу брал
И предвидел все, что знал, —
Потому и воевал,
Покорял и разорял,

Отказавшись от отцов,
Никогда не видел снов, —
Гадкий, маленький горбун,
Импотент и подлый лгун.
Треугольник в небесах,
Русь за степью, в куполах, —
Вот чего боится хан
Кривоногий хан-баран,

Трон он сделал из костей
Из гостей всех областей,
Мерзкий, черненький монгол —
Перед боем плакал он,
Птицей на коня взлетал —
В жуткий свой астрал вступал,
Там молился князю зла —
Вечно в облике козла.

Под чеченскою луной
Чингисхан стал сатаной —
Под папахою рога,
И в крови все рукава.
Войско страшное бежит —
Топот до небес стоит,
Впереди, как в жутком сне,
Сидя на большом коне,

Скачет мутное ничто

И как будто бы никто —
Это черный глаз ночной,
Демон в круге огневом,
Следом всадники в седле,
Плачут всадники в седле,
Псы поганые войны —
Дети смерти и мечты.

Стены лунного огня
Окаймляют города,
Там, где идолы стоят, —
Избы русские горят;
Прах от праха, степь углом
Нависает над крестом,
Стон раздался грозовой —
Гибнут люди за горой;

Страхом давится страна —
Распадается она,
Туча черная летит —
На коне козел сидит,
Дождь вплетается в траву,
Реки ставят на кону,
Телеграфный голос гор
Отлетает за бугор.

Время кончилось вчера —
За спиной встает заря,
Кровь зовет меня на бой —
Бранью кончится разбой,
Козырь у меня в руке —
Утро встречу на войне,
Всходы ранние сорву —
Кину на могилу, в тьму.

В муках корчилась Орда,
Русь рождалась до утра —
Золото на куполах,
Стяги алые в войсках.
Брошу я последний взгляд
В дивный православный сад —
Львы там с гривами из роз,
А цветы из ярких грез,

Под божественным дождем
Ночью там совсем как днем.
Между солнцем и луной,
Между словом и огнем,
Осиянные крестом,

Встанем мы на бой с врагом —
Всех уьем до одного,
Не оставим никого.

Под брутальной звездой
Мой народ рожден лихой,
Благодатью пахнет дом,
Ладаном и куличом.
Все святые в гости к нам —
Освящать наш вольный храм,
Все святые хороши —
Ты уж с ними не грехи,

Встали вместе, рядом ряд —
Самый твердый наш отряд;
Крайний слева Серафим,
Сгорбленный как херувим,
Взгляд пробойный, с хитрецей,
Силы полон неземной,
Подпоясан бечевою,
Молится за нас с тобой;

Рядом с ним синайский брат,
С посохом Макарий раб,
Терпкий очень и горяч —
Старый, мудрый, добрый грач,
Крутолобый, как баран,
В голове торчит капкан,
Чтоб охотиться, как кот,
На языческий приплод;

Стоя крепко на земле,
Держит небо на спине —
Сергий Радонежский он,
В Иисуса он влюблен,
Вот он тянется к костру,
Чтобы запалить свечу,
Богородицу в крови
Встретит на своем пути,

Сердце перехватит боль,
Но едка молитвы соль —
Всяко сделает дыру
К Богу, ангелам, кресту.
Голос истовой Руси
Раздается из груди,
На равнине и в лесу
Люди молятся Христу —

Он над всеми, Божий Сын,
На гвоздях висит один,
Холодеющей губой
Принял укус огневой,
Возопил – «Или! Или!»
И – «ламма савахфани»,
Дернулся куда-то вбок,
Крикнул – «совершилось», взмок

Смертным потом, и умолк,
И воскрес, как майский гром.
Чуткий, светлый ангел мой
Отнесет меня домой,
Где жила моя семья,
До того как умерла,
Смерть там бродит в бубенцах,
Раздобревши на костях,

Кружит вальс свой стерва мглы,
Тянет холодом из тьмы,
И зазывно под дождем
Кровь журчит весенним днем.
Там в языческих лесах,
На зеленых пустырях,
След оставляю дерзкий свой —
Крест живучий, золотой,

Обнаружу над огнем
Трепет мысли под виском,
Упряжь алую коню
Я надену на скаку;
Дыбом вздыбится земля,
Да затянется петля
Времени, да ангел мой,
Облетая шар земной,

Станет женщиной с косой.
Вслед войду я в города,
Нарисованные там,
Где рассеется обман,
Где в падучей голоса
Отлетают в небеса,
Где пространство тонких сил
Защищает Михаил.

Брошу я Петру ключи —
Бог зажжет мою свечу,
Сквозь кипящие круги
Тени прошлого пройду,

Откровение любви
Я познаю на пути,
И в глазах Его прочту
Шифры рая. Я войду.

2000

Анатомия образа

Образ поэзии

Поэтическая память – это когда запоминаешь поэтические образы, а не факты или явления. Поэтическая память бесконечна, материал поэтический вечен. Передать словами поэтические впечатления можно лишь с помощью особого поэтического вдохновения. Поэтическое вдохновение – это особенный инструмент познания и изучения мира и человека, сосуществования и взаимопроникновения. Во славу Божью! Это – надчеловеческий инструмент познания. Это – дыхание Бога. Это – дуновение Духа Святого. Это – божественный воздух, которым дышишь и не можешь надыхаться. Это такой припадок юродивости, который внезапно начинается, и так же внезапно кончается. С периодичностью – один раз в год, в лучшем случае, два раза в полтора года. Обычная его продолжительность – месяц или полтора месяца. Во время этого запоя, этого праздника бытия, будто взбираешься на невообразимую гору, с которой видно все, с которой всюду проникаешь, видишь и понимаешь взаимосвязи, о которых прежде не знал, и ничего не предполагал об их существовании. И вот дуновением Духа Святого ты вознесен на эту гору, волей Бога ты вдохнул первый глоток божественного воздуха, и почувствовал трепетание божественной гармонии. Вдруг и неожиданно вдыхаешь первый глоток. Затем также внезапно и неожиданно перестаешь дышать этим воздухом, и все. И остается лишь первичный образ, то есть поэтический материал, но не сама поэзия.

Образ разлуки

Больные губы к больным губам припали на исходе дня.
Я врал.
Как же я врал!
Я ждал разлуки этой терпкой, как орех мускатный.
Вновь страшный корабль надежды моей поднял паруса.
Так воцарился день осенний, взрывоподобным разноцветным карнавалом меня заморозил!
Трогательный дым костра, во искупление грехов моих, несется над землей и стелется под ветром, мешается с дыханием моим, и прячется в листве опавшей до весны, под цветом красным, желтым и зеленым, коричневым и голубым.
Ты – странное счастье утраты моей.
Горит мой напряженный ум.
По линии памяти между сном и мечтой.
Душа журчит святым источником любви.
Огонь во тьме срезает горизонт.
Теперь недалеко и до рассвета.

Покой во всем.
Дорога отошла.
Сомнения и страхи впереди.
Падение и боль лишь завтра.
Пока не трепещу от близости земли.
Нелепые пройдут дожди.
Все чаще я смотрю на небеса.
Все девственной и чище голоса детей.
Летят под небом облака чужие.
Жасмин давно опал.
Остался запах навсегда жеманный.

Образ силы

Остается имя свое соскрести с креста, запоздало выполнив просьбу Каиафы.
Соскрести имя с креста, запеленать имя в плащаницу небес, и положить в гроб из запекшейся крови моей.
А потом прорвать горизонт, прорубить небосвод.
Воздушных князей растоптать.
И вознестись, воскресив, воплотив, совершив.

Образ неба

Небо – это нежная помесь дождя и ласточки, беды и раздолья, весны и страданий, света и цвета, боли и любви, воли и восторга, правды и разочарований, холода и тени.
Так холодно, что даже тени загрустили, съежились и обмякли, оплыли и растеклись, превратившись и дымящуюся кучу дерьма человеческого, всего того, что остается от человека после его жизненных упражнений, в результате волевых усилий по достижению материальных благ.

Горе тебе, о, человек!
Горе мне!
Я – глуп!
Безмерно глуп!
Стыдно глуп.
До тошноты.
До ломоты.
И отвращения.
Я глуп.
И тем я человекен беспредельно под небом голубым.

Образ веры

Вера – это раздолье и красота, страх и беспредельная зависть, доверие и память, веселье и беззаветность, предание и вечность, дорога и плоскость бытия, созерцание и ветер поднебесный, желание и голод.

Так голодно мне, что вопреки ожиданиям, вопреки переживаниям и всевозможным страхам, я пройду над водой по нависающей над протокой ивой.
И с ветвей не капает вниз ничего.

Я верю не по причине, а от отсутствия причины.

Как когда-то я шел по пыльной дороге, между небом и пошлостью безраздельной, и камни подбрасывал вверх – один, второй, третий; кидал и ловил – один, второй, третий; без всякой на то причины.

Я тогда трудился почтальоном.

В этом качестве я разносил письма и деньги, газеты тоже.

Когда Жак Деррида предполагал, я уже знал.

Он рассуждал, я делал.

Он написал – я сделал.

Я трудился почтальоном и кидал камни в небо, кидал вновь и вновь, и ловил, не давая им упасть куда угодно.

А письма и деньги, и газеты тоже, я разносил по адресам.

Так я управлял процессом познания личности, развивая мир и себя в мире, перегружая друг в друга, переливая друг в друга – небо, письма, камни, человека, веру.

Образ детства

Ничтожные заботы меня не покидали никогда, пока я бегал по окраинам вселенной, по берегу реки, по шпалам и оврагам, по лесным дорогам, сквозь кусты и сквозь дыру в заборе; и боялся, и забегал в ущелья, и оставался жив под дождем и ветром; по коридорам бегал и к могилам предков припадал; плавал во сне и искал бесконечную защиту и бесконечную правду в войне, жизни, счастье, уме, душе и разлуке.

Я находил свое детство.

Образ страха

Я вечно трушу.

Стыдно.

Досадно и пошло одномоментно и в полной мере.

В любви и в разлуке меня обуревают страх вольный и прозрачный, как капля росы или меда.

От любви до любви (и в самой любви!) нет ничего, разве что страх, удручающе привычный, и, нескончаемо мучительный.

Страх остужает грудь, иссушает голову, обременяет глотку, останавливает руки и тело, бросает в бездну безрассудства, выщелушивает сердце.

И избавляет от скуки.

Наконец-то.

Трогательная смерть от самодовольства и скуки мне не грозит.

Листаю прошлое и настоящее – и ничего не понимаю до конца, кроме одного обстоятельства: страх всегда беспечен.

Образ боли

Я хочу открыть банку с болью.

Перемешанная с крупной солью, боль моя шевелится крупными червями, но не пахнет, но и не привлекает к себе, а отвращает.

Боль – это всегда познание.

Боль – это всегда новое качество жизни.

Стойкость, вера, страх, небо и нежность, слава и сила, счастье и достоинство, терпение и терпимость, надежда и правда – все боль, все от боли, все в боль уходит, и все болью дышит, все болью держится.

Образ героя

Лирический портрет героя безуспешно прост.

Лирический портрет героя безутешно прост.

Лирический портрет героя безнадежно прост.

Лирический портрет героя бесконечно не прост.

Лирический герой – это почти всегда подлая тварь, лишенная нравственной основы, и, ради своих эгоистических интересов, могущая предать всех и все.

Лирический герой дышит страстью, и холод у него в крови; и стойкость заканчивается, и взгляд останавливается, напрягаются веки, деревенеют скулы, губы мертвеют от лжи и упрямства, а веселье сменяется паникой.

Лирический герой бессмертен, слаб и беззаботен, противен.

Образ страдания

Трудно передать будущее.

В будущем все и всегда было лучше и скромнее.

Не то – вчерашний день.

Пропитан низостью вчерашний день, предательством, и напоен он славой беззаветной.

Никто не защищен от горя.

Полынь завядшая лежит передо мной, напоминает о былом горе.

В последний день, в последний день это было.

Я встретил ее на углу Арбата, глазеющую по сторонам, выискивающую своего избранника: круглые глаза – всегда темнеющие; круглая попка – вечно чистая; руки, покрытые темным пушком; кожа лица веснушчатая, обрамляющая вольный безразмерный рот.

Я знал ее, но некоторое время не окликал, не подходил – я долго шел к ней, не решался прийти, потому что знал о последствиях, но пришел, ибо верил в ее чистоту, свой ум, свое благородство и мою любовь.

И нет в том никакого страдания ума, кроме страдания души, которая требует благородства, и тогда страдание превращается в новые мысли, новые чувства, а не плотские утехи или материальные приобретения.

Слава Богу, дарующему моей душе свободу страдания!

Образ нежности

Священник бестолковый, и умный одновременно, заметил мой внимательный и завистливый взгляд, оценивающий и жадный, которым я провожал невероятной красоты тело, окунавшееся в неземную воду источника Серафима: рубашка облепила тело рубенсовской/брюлловской, конечно, кустодиевской красавицы по выходе из воды – так еще краше, гармония тела очевиднее, а пошлости нет вовсе.

Самонадеянный священник определил мой взгляд, как развратный; он не понял моего интереса; священник оказался почти тщедушен, если бы не его священнический сан, он бы не удержался.

Священник лишь отчасти прав, он недостаточно образован – ему никто не рассказал о том, что нежность и пошлость две крайности одного чувства.

Но ведь он священник – он обязан быть в центре.

Бедняга.

А ведь кроме нежности я ничего иного не испытал; разве что еще восхищение и восторг перед первозданной красотой тела, линии которого столь живописны, тонки и нежны, что почти ирреальны.

Образ красоты

Поле подсолнухов желтых, с круглыми одинаковыми головами, одной высоты и размера, у дороги.

Дети увидели подсолнухи и побежали в мыслях, дальше и дальше, раздвигая и ныряя, облачаясь и сбрасывая, покоряясь и исповедуя, влекомые движением сердца, а не мысли, чувством прекрасного, чувством соразмерности.

В мыслях подсолнухи никогда не кончаются, всегда по полю подсолнухов справа от дороги, всегда дети бегут, неустанно раздвигая подсолнухи желтые.

Может быть надо остановить мысль.

Мысль можно.

Красоту нет.

Произошедшая красота бесконечна.

Перед тем как мне уснуть, я вспомню поле подсолнухов, и побегу за детьми, догоню; и дальше мы побежим вместе, расталкивая мясистые толстые стебли подсолнухов.

Вместе.

Дальше.

Навсегда.

Образ любви

Я стою на коленях перед мощами Серафима Саровского/Сергия Радонежского/Сергия и Германа Валаамских/Саввы Сторожевского/Зосимы, Савватия и Германа Соловецких/Святителя Пантелеймона/Иоанна Крестителя/Апостола Луки/Апостола Марка/Апостола Матфея/Иоанна Богослова/Николая Чудотворца/ Андрея Боголюбского/Александра Невского/Амвросия Оптинского/Иоанна Кронштадского, и перед прядью волос Иисуса Христа, и его плащаницей, и копьем сотника, и перед поясом Марии Богородицы, и перед Крестом Распятия, и дубом Мамрийским, под которым сидели Трое.

И я обливаюсь слезами любви и восхищения.

Искренние слезы льются, как из двух источников, по щекам, в рот, по скулам и подбородку – живые, чистые слезы раскаяния и восторга, благодарности и трепета.

Теперь навсегда слезы запечатлены в сердце.

Вновь и вновь я обливаюсь слезами в мыслях, и припадаю на грудь Бога, и прошу о милости и любви.

Образ сказки

В осеннем кружим мы лесу.

Дорога между елок завела нас далеко от камушка Серафима.

Мы заехали в тьму-таракань.

Лишь шелест комаров нарушает лесную благодать.

Тепло.

Бродим мы по кромке ночи, бродим в страхе и одни.

Все покойно и порочно.

Демон крутит нас внутри.

Бездна в поле и в лесу, бездна в сердце и в стогу, на поляне впереди, между елок позади.

Страшно очень, между прочим.

Страшно так, что слова нет.

Страшно сверху, страшно снизу, страшно всюду, где нас ждут.

Чу!

Монашеское кладбище в тяжелой чаще: елки и кресты, могилы и цветы.

Нам туда.

Поедем ходко, чтоб успеть нам до зари.

Едем-едем; на пути, видим, бабушка грустит – села старая на пень, и болтает дребедень; слово за слово, и вот – бабка скачет как фাগот, между елок, по траве, по дороге – вся в говне; то не бабка, а лесной, гадкий дух, по сути злой.

Едем дальше, наконец, видим камушка хребет, – край чего-то неземного, память батюшки лесного; он колот тот камень словом, он молился здесь весною, он – могучий Серафим и саровский гражданин.

Скрип в лесу раздался свьше, иглы хвойные звенят и о чем-то голосят.

В круг застенчивой молитвы вышел батюшка из битвы: глаз – как раненная птица, горло – как расстроенный рояль, в сердце память и печаль, в голове дорога к раю, дух – как Волга вертикален, сам приземист – как пенек, на корягу он похож.

Вот он сел, заговорил, помолился и застыл; кликнул он медведя, сокола и волка – всем сказал он по словечку, и умчался в чашу леса.

С тех пор Серафимов проговор нависает, как топор.

«Не ходи порой ночной в чашу леса на постой, травы красные не рви, тени пришлые не жги, не женись весенним днем, дуй на воду и в кусты, утром-вечером не лги, тело девичье крести, день последний впереди, очень сильно не грусти, Святым Духом дорожи».

Образ памяти

Огонь в груди горит – как глаз рассвета.

Лебеди души моей, запряженные цугом, тащат карету памяти.

Телу души моей, ах, телу души моей многое неподвластно – впереди и позади, сверху, снизу и кругом, цугом, разом и крестом, в детстве, старости и летом, осенью, зимой, с рассветом, всюду, разом и везде, в желтой огненной листве.

Под небесное каждень свьше – оглашенных позовут, посвященных назовут, всех на свете призовут.

Внешне всё остается недвижимым.

Внешне всё продолжает оставаться недвижимым.

Внешне всё продолжает быть недвижимым.

Внешне всё недвижно.

2000

Страсть

Нас драма осени сопровождает,
вздывая к небу руки тишины,
я призываю листопад на нас —
и бесконечный взгляд открытых глаз,
в которых трепетание души,
и совесть моя стынет и зудит.

Поклон, еще один, и занавес
закрылся до утра, и люди вмиг
растаяли, как свечи, навсегда,
и ты уходишь ночью в города,
мне оставляя свой последний крик,
в котором обреченный мой ответ.

Бульварная весна пришла вчера,
в клею ночном деревья и глаза,
я руки простираю над рекой,
дышу водой и слышу я водой,
я обрываю лилии со дна,
и звезды вырезаю из огня.

Я вынимаю солнца из глазниц,
дышу я жабрами твоей души,
луны паникадило в вышине
качается в глубинах тишины,
достану список страсти из груди,
и выпущу на волю, будто птиц.

Прости меня, мы не умрем вполне,
мы встретимся опять в одной стране,
там серафим нам чашу поднесет,
и нас уставших и без сил спасет,
потом мы проиграем на войне —
в ней нет живых и мертвых нет уже.

Шелковые тени сотворенья
падают и падают на нас во мгле,
тонкий оттиск одухотворенья
настигает нас в тревожном ясном сне,
в поисках безумного творенья
ткань рассудка постигаем мы во тьме.

Трепет дня почувствуем осенний,
хлебом пахнет, кожей, солью, молоком,
выпьем чаю с трогательной ленью,
и поговорим о чем-нибудь большом,
мы устали от пустых сомнений.
Слава Богу! Все кончается постом.

Листья пали – небо остается,
у меня теперь простые торжества:
дождь стучит в окно, а мне сдается —
ангел просится ко мне на голоса,
он войдет и тихо назовется,
и повеет миром с правого виска.

2001

Прощание

Т.

Истекает с облака ночного,
тени птицами взлетают впереди,
у тебя в груди теснятся снова —
страх и вера, и желание уйти.

Шевелятся в сердце дети срама —
трудно очень встать под тяжестью любви,
слезы истекают – будто драму
кто играет на твоём страстном пути.

Тело побеждает, отдается,
кровью истекает смятая душа,
память и мечта не продается —
отряхни с себя чужие города.

Постигаешь вечные начала,
и уже ты видишь – как в далеком дне:
грешников на небесах венчают,
лики праведных сжигают на костре.

Ветер обретаешь в колыбели,
в комнате твоей все свечи зажжены,
хочется порой, чтоб пожалели,
чтобы были все мы тихо спасены.

Тонкой кажется основа бытия,
трогательной, иногда унылой,
и печаль твоя отчаянно проста,
и безмолвна под гримасой грима.

Эти руки холодеют навсегда,
а слова последние упруги,
жуткая твоя осенняя тоска

холодом сжигает всё в округе.

Спят дети мои тихо, безмятежно,
твердеет творог белый на столе,
и нежности в груди моей безбрежной,
быть может столько же, как во Христе.

Я припадаю к нимбу золотому
и благодарно плачу в забвенье,
пойду один я по ночному дому,
оставив капли крови на копье.

Я не боюсь молитвенной расправы,
я сам – как буквы на кресте,
не избежать миссионерской славы
тому, кто небо чувствует в себе.

Стою и плачу перед аналоем,
едва лампы тлеют в темноте,
поют монахи – будто перед боем
трубят горнисты резко на заре.

Твердеет кровь, когда готовлюсь к смерти,
летают мысли, словно облака,
и кажется, по мне вздыхают черти,
и говорят мне разные слова.

Я посолю себя, чтоб стать бессмертным,
жизнь скалывается – как скорлупа,
глоток и вздох, и сон уже последний,
пора – зовут святые голоса.

Я перед вами снова как ребенок,
я оживаю снова и люблю,
рождение отмечу я поклоном,
и слезы благодарности пролью.

2001

На исходе ночи

И.

Глаза скрывают чей-то безнадежный взгляд,
петлю накинута,
время растворю словами,
и в прошлое войду,

как блохи в шкуру проползут;
театр полон,
занавес опущен,
и дирижер взмахнул лекалом,
накрыла от лампы тень весь этот смежный мир,
в нем люди превращаются в костры,
сердца взрываются от боли,
оркестр жив пока,
и музыканты плачут и смеются;
вуаль накинула она,
и подошла ко мне,
и отвернулась,
я буду плакать,
только не молчи,
я вырву все пустоты из тебя,
я растворюсь в тебе,
и все отдам тебе,
одной тебе, —
тогда она запела, —
как роса,
стекая вниз,
неслышно стонет,
я вдруг постиг изгиб руки ее,
припухлой,
легкой,
и шеи тонкой наготу;
а холод дна меня обурекает,
вздывают воины мечи,
и вертолеты боевые,
как слоны,
бегут по небу в направлении меня,
мне страшно,
и меня трясет,
мне хочется укрыться от войны,
я не могу понять,
зачем они слетаются и воют,
зачем хотят меня убить,
ведь я родился на исходе ночи умным и таким живым,
меня любила мама,
и ждала меня,
пока я просыпался,
кормила грудью на ветру,
и обнимала под луной,
и тихо целовала;
еще там был в саду ручей журчащий,
и птицы пили из него,
страна лежала вдоль ручья,
на перекатах строя города и храмы,
неудержимо направляясь к свету,

молитвой упираясь в твердь,
я следовал за ней,
напоминая срезанную розу на закате дня,
я протыкал лицо шипами солнечных лучей,
от крови обогранных,
я как река,
разорванная льдами,
стремился на восток,
сужались берега,
огни мерцали,
как короны чужеземных королей,
собравшихся к столу по случаю победы надо мной,
я полностью погиб,
и ничего во мне не оставалось,
хотел я умереть тогда,
ведь можно было мне,
мой день настал,
я не прощаюсь никогда,
я никого уже не поцелую,
ведь я упал на снег —
и в снег я превратился,
вошел я в дождь —
и капли тела моего с людьми смешались,
от ветра возгласов моих шумят леса,
и горы сотряслись,
никто не верит мне,
не потому что не хотят,
понять не могут
все мои мечты простые,
как и живот моей беременной жены;
и вот тогда я зажигаюсь —
я будто семисвечник в алтаре горю,
слова из горла поползли,
как муравьи лесные,
я нежен,
как сова в ночи,
я осторожен,
будто камнепад,
я – тварь,
я – божий сын,
я никогда уже не умираю навсегда,
я – возглас самых скрытых сил,
я – обретение земли,
обрящут все меня,
и может быть уже не позабудут,
хрустит осенний лес,
и падает,
и пахнет в небесах,
иду я меж фигур,

аляповатый и еще слепой,
пока не тверд мой шаг,
но мыслью я вонзаюсь в горизонт,
и праведен мой жест,
и все желания мои вас очаруют,
такая тишина в душе настала у меня тогда,
и вот я слышу ангелов полет,
и смрадных демонов земное притяженье,
быть может у меня весна в душе,
и осень в голове,
зима на сердце тает-тает,
а плоть июньская смердит,
теперь когда свободен я от всяких устремлений,
теперь когда я больше не живу —
ты тихо сотвори меня,
и я к тебе приду,
и никогда друг друга мы не потеряем,
вот разве что последний сделаю я взрослый шаг,
и руки опущу,
глаза открою,
посмотрю,
прошу,
и все тебе я расскажу,
а ты слова мои не позабудь,
и не вини себя,
но плачь и уходи.

2002

Параллельный ветер

Тонкие сатиры в забыты
память покалечат подаяньем,
подпирают ноги костыли,
ухожу я в сумерки сознания.

Вечером, однажды в январе,
«...Брань» открою старца Никодима,
помолюсь с ребенком в тишине,
и пойму, что жизнь неопалима.

Мысленные сказки на стекле
пузырятся холодом и кровью,
стынет чай зеленый на столе
в крошках со вчерашнего застолья.

Пирогам пахнет Рождество,

жду я чуда с самой колыбели,
голое родилось Божество
прямо на Иосифа колени.

Трогательно тянет ветерком,
спит жена безмолвная в постели,
вечность замерзает за окном,
новый век скрипит на карусели.

Боль моя под крышкой не сидит,
и душа в затворе будто птица,
так она однажды закричит,
что я выплесну ее в страницы.

Мне уныние так не к лицу,
грифелем я Бога нарисую,
к золоту прильну и серебру,
до небес дотронусь, и усну я.

Так тоскливо ночью одному
покидать свое родное тело,
к звездам сквозь тугую высоту
продираться бесконечно первым.

Параллельно ветру поднимусь,
одолею страх и наважденье,
все еще кого-нибудь боюсь,
совершая страшное решенье.

До престола дотянусь рукой,
смысл пространства постигаю верой,
и людей оставлю за собой,
измеряя бесконечной мерой.

Не было мороза никогда
в Вифлееме красно-каменистом,
не хрустела на снегу звезда
в декабре хрустально-голосистом.

И не билась на куски вода,
от которой стынет утром горло,
в снег не превращались города,
чтобы таять от огня покорно.

В Палестине странная зима —
иудеи вымараны белым,
и от слез замерзшая стена —
видится огромным хрупким мелом.

Тени в шляпах ходят и поют,
и кивают головами, будто птицы,
пейсы рыжие из них растут
только на открытые страницы.

Вместе с ними плачу о любви
и стенаю над пробитым Богом,
выдираю сердце из груди —
отдаюсь Христу перед порогом.

Свет гремит на перекрестках тьмы,
вспышки правды истинно красивы —
как нечеловеческие сны, —
только безграничны и игривы.

У меня спекаются глаза,
и болит душа, как на распяты,
вижу в дочери своей врага,
я закрою от нее объятья.

На моем столе короткий шум,
в центре куст с горы Хорива,
время выворачивает ум,
сучья память детская ревнива.

В городе Козлове тишина —
люди все мертвы и просто стёрты,
здесь матриархальная война —
ею правят шерстяные сёстры.

Здесь Державин «Бога» написал,
и гуляет в чаще волк тамбовский,
на замерзший тот пустой вокзал
приезжал я, как весной Дубровский.

Это фараонова страна —
где земля вспухает от раздоров,
где не знают Пасху и поста,
умерщвляют здесь без лишних споров.

Пожирают дети матерей —
ничего для них не свято,
листопад, как стая голубей,
глушит стона русского раскаты.

2003

Ангел

жене

В полях серебрится мороз голубой,
Поземка доносит к нам отзвуки рая,
Летящего ангела поздней порой
Я встретил, детей на салазках катая,

И вместе пошли мы гулять под луной,
И вместе смотрели на звезды в эфире,
Влекомые хваткой отцовской рукой,
Все дочери были прологом к картине,

На гору взбирались мы с ним по тропе,
И огненный странник в последнем движенье,
Уже исчезая над мерзлой землей,
Способность оставил к небесным прозреньям,

С тех пор вспоминая минуты огня,
Я в лицах детей обрету покаянье,
Всмотревшись в родные девичьи глаза,
В них ангела вижу свои изваянья.

2003

Откровение

крестным детям

Свет лампы падает на дно стакана,
Взлетаю я и трогаю лицо рукой,
Срываю кожи я сухой пергамент,
Лицо другое вижу, как кошмарный сон,
Недолго думал перед изваяньем,
Короткий ход, движение одной руки,
Срываю вновь лица пергамент белый,
И вижу я креста небесные черты,
На нем слова, написанные дланью,
Нет более сомнений на моем пути,
Недалеко прошел я по дороге,
Господь не дальше мысленной моей черты,
Я размываю очертанья тела,
Я слышу пенье птиц, как будто изнутри,
Постиг теперь я, что такое вера,

Под колокольный звон у городской черты,
Границы дня перемешались с ночью,
Во сне ребенок пахнет теплым молоком,
Проснувшись плачет, писая в горшочек,
И никого не видит он перед собой,
Ведь утром свет ложится ровным слоем,
На дно стакана, на пол, в ухо и в глаза,
Могу я свет отправить местной почтой,
Я в бандероль вложу два сорванных лица,
Исписанных два свитка прошлой ночью,
Которые нашел, раскрыв себя до дна,
Теперь во всех я вижу лишь порочность,
И всё теперь мне кажется вполне чужим,
Я утром помню всё, что было ночью,
А днем забуду все, что стало мне родным,
И днем меня опять обступят тени,
Они живут в пути, совсем как мертвецы,
Их странные, ничтожные сомненья,
В мозгу моем вселяются, как злые псы,
Я вновь вздымаю свои веки к небу,
Хочу я уберечься от пустой войны,
Но лысые, больные поколения,
Во мне копаются, как злые кабаны,
Взрывают землю страждущего сердца,
Копытцами топчут по худой груди,
Жуют моё лицо, мой щит последний,
Хотят в дыру сознания со мной уйти,
Не вижу никаких других решений,
Мне с ними трудно без молитвы совладать,
Я обопрюсь на посох придорожный,
По облакам пойду лицо свое спасать,
По книгам я пройду и по дорогам,
Я посажу леса и реки разолью,
Совсем без сил, глаза свои закрою,
У Господа любви к себе я испрошу;
Но разве Он меня не пожалеет,
Но неужели Он меня не подберет,
Ведь я совсем один и днем, и ночью,
Свет мысли постигаю за стеклом мечты,
Я до сих пор живу, как беспорточный,
Передо мной квадрат закрытого окна,
В нем вижу неба черную тревогу,
И звезд страдающих ночную красоту,
Хочу постичь я неопределенность,
В себе почувствовать креста углы,
В нем растворить лица определенность,
К Тебе, о, Господи, мне быть вознесу.

2003

Канон перекрестка

время в Петербурге – как устрица
дождь здесь – бесконечная категория
чайки горизонт щиплют с наших ладоней
волны доходят до подбородка мертвых
небо драпировано андреевским стягом
пахнет навозом медная тень истукана
все мы повернули направо от всадника
сделавшись темой, поводом иной аллегии
разве кто возьмется доказать обратное,
дабы распознать превратную силу движения

меряет Петра первородок треугольными шагами
в красном пребывает фиолетовый отклик
портит вид на Смольный гранитная колоннада
куст сирени у Астории закрывает нападавших
набережная Дворцовая исхожена сапогами
парусник спускает паруса в тихой гавани
Летний сад работницы моют по спирали
мысли взлетают в небо и никуда не уходят
город – как пособие по русской анатомии
вымараны наши лица кровью героев падших

близко к Достоевскому лежит тот самый Клодт
Мусоргский оказывается под звездой иудея
Дельвиг превратился в фигуру для диссертаций
ноет в глазном яблоке заноза Адмиралтейства
Петербургская Ксения молится о Тарасе Шевченко
Пушкина уставшее сердце покоится на территории
город поражен проказой букварной истории
смысл сознания искажен разводными мостами
Раухфус – это не человек – ждёт на Лиговском восемь
скручиваемся у входа и превращаемся в тишину

краем блюда северного плоского небосвода
солнце прорывается сквозь рябь сползших туч,
высвечивая угол Римского-Корсакова и Большой Подъяческой,
выхватывая нас в полном составе из темноты
консул на балконе читает газету на голландском

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.